

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ.

Я не былъ на Пушкинскомъ праздникѣ. Въ той тихой, далекой, полудикой глупи, гдѣ я отдыхалъ отъ Петербурга и литературы, даже газетное эхо шумного торжества слышалось какъ-то черезъ два въ третій.

Чудно выходило. Вдругъ пронесется завывающій, сантиментально-тигровый голосъ Я. П. Полонского:

Пушкинъ—это возрожденье  
Русской музъ, воплощеніе  
Нашихъ трезвыхъ думъ и чувствъ;

Это—въ сумеркахъ Украины  
Прелестъ чародѣйной тайны,  
Ночь и Лысая гора...

Потомъ послышится воркованіе г. Каткова, кроткаго, какъ голубь, и шипъ, и шелестъ рѣчи г. Достоевскаго, мудраго, какъ змій... Гаркнетъ во всю свою молодецкую глотку г. Цитовичъ что-то объ «удобствѣ своего дебоша»... Г. Навроцкій скромно заявить, что, по болѣзни дочери, не можетъ украсить собою московское торжество... Послышится глухой шумъ взаимныхъ подкапываній между разными учрежденіями, имѣющими власть праздновать... И скептический голосъ гр. Л. Н. Толстого: «это все комедія!»

Согласитесь, что весь этотъ винегретъ въ такомъ видѣ, по крайней мѣрѣ, имѣть полное право казаться ерундой, говоря энергическимъ старымъ слогомъ. Пушкинъ вовсе не Лысая гора, г. Катковъ совсѣмъ не голубь, и семейное горе г. Навроцкаго не имѣть никакого отношенія къ памяти Пушкина. Это навѣрное. Ерундистость всей этой ерунды была для меня потому особенно осозательна, что кругомъ себя я видѣлъ почти только одну мощную, никогда не завирающуюся и никогда не притворяющуюся природу. Я не знаю, про что гудѣло море, посыпал

на берегъ волну за волной, передъ кѣмъ горы снимали и надѣвали свои облачныя шапки, о чемъ шумѣлъ водопадъ, безъ устали прыгая съ приступка на приступокъ—но знаю, что никакой фальши тутъ не было. Могу догадываться, про что выли по ночамъ шакалы, что шипѣла пойманная черепаха и что свистѣла злобная гадюка—хорошаго мало во всѣхъ этихъ звукахъ, но ерунды все-таки нѣтъ, а есть одно, во истину «откровенное» направлѣніе, безъ всякаго вилянія и лицемѣрія. Хорошо въ этакой дикой глупи пожить! Отойдуть отъ тебя всѣ печали и обиды, тавими мелкими и нестоющими объявятся житейскія дразги, улагутся волненія, окрѣпнутъ нервы и миромъ и безпредметнымъ благоволеніемъ наполнится душа... Очень хорошо.. Но подите же, какъ странно устроень человѣкъ. «Ахъ! двѣ души въ груди его живутъ», и я долженъ признаться, что частица души моей была тамъ, въ Москвѣ. Цикады поютъ лучше Я. П. Полонскаго, змѣя быстрѣе и изящнѣе, чѣмъ Ф. М. Достоевскій, скользить по травѣ и камнямъ, гора въ облачной шапкѣ выше М. Н. Каткова, море глубже г. Навроцкаго, а шакаль воеть, по крайней мѣрѣ, не хуже г. Цитовича. И все-таки...

До такой степени «все-таки», что даже тамъ, въ далекой глупи, я не могъ отказаться отъ удовольствія искать смысла въ отрывочныхъ звукахъ газетнаго эхо, а, вернувшись въ Петербургъ и вновь окунувшись въ литературный омутъ, рѣшаюсь предложить читателю два-три запоздалыя слова о только-что минувшемъ торжествѣ.

Повторяю, что ни говори Я. П. Полонскій, а Пушкинъ не Лысая гора. Это просто вздоръ. И такого вздора много было наговорено на самомъ праздніѣ и по поводу его. Было, однако, говорено и дѣльное, и значительное. Но если искать словъ, наиболѣе полно объясняющихъ дѣйствительное значеніе торжества, то, по моему, они заключаются въ вышеприведенныхъ изрѣченіяхъ гр. Л. Н. Толстого и г. Цитовича. Конечно, изрѣченія эти, отчасти благодаря своей лаконической формѣ, а отчасти и по существу, требуютъ поправокъ и поясненій.

«Все это комедія», сказалъ, говорить (пишутъ въ газетахъ), гр. Толстой г. Тургеневу, который приглашалъ его на пушкинскій праздникъ. Сказалъ и не поѣхалъ. Да, это несомнѣнно комедія, хотя, надо замѣтить, одна изъ тѣхъ комедій, участвовать въ которыхъ ни мало не зазорно. Это комедія, во-первыхъ, потому, что въ торжествѣ, рядомъ съ искреннимъ увлеченіемъ, было обнаружено не мало театральнаго искусства. Это комедія, во-вторыхъ, потому, что Пушкинъ тутъ былъ предлогъ, символъ, прикрытие, все, что хотите, но только не непосредственный герой торжества. Истинный смыслъ праздника заключается не въ чествованіи поэта, а въ томъ, что, какъ выразилась газета г. Цитовича, литераторы обрадовались «удобству своего дебоша». Грубо и даже малограмматично сказано, но въ основаніи вѣрно. Надо только измѣнить тонъ изрѣченія, тотъ самый тонъ, который, какъ известно,

fait la musique. Г. Цитовичъ пустилъ въ ходъ ругательную музыку. И это бы еще не бѣда. Но надо было сперва твердо установить самый фактъ «удобства своего дебоша», пріскавъ, разумѣется, болѣе граматическую и приличную форму для выражения факта, а потомъ уже разобрать, кто изъ «дебопировъ» достоинъ ругательной музыки и кто не достоинъ.

Думаю, не нужно доказывать, что, напримѣръ, голубиное воркованіе г. Каткова, столь противорѣчащее всей его дѣятельности, было настоящей комедіей, въ смыслѣ большаго или меньшаго театрального искусства. Нѣкоторые глубокомысленные люди, мни защищить г. Каткова отъ нападковъ въ лицемѣрии, утверждаютъ, что этотъ воинственный Мальбругъ можетъ завтра же съ совершенно чистою совѣстью ѻхать въ свой обычный походъ на литературу, ибо, дескать, онъ предлагалъ примиреніе только на сегодня, на день торжества. мнѣ кажется, что эта защита есть тотъ самый камень, который услужливый медвѣдь, будучи опаснѣе врага, запустилъ прямо въ лобъ пушкинику. Впрочемъ, не о г. Катковѣ и не объ услужливыхъ медвѣдахъ рѣчь. Я взялъ г. Каткова только для примѣра. Не онъ одинъ обнаружилъ на пушкинскомъ празднике талантъ комедіанта. И любопытна тутъ не сама комедія, а мотивы, подвинувшие этихъ господъ выступить на поприще драматического искусства. Самый фактъ комедіантства несомнѣнъ даже для тѣхъ, кто его отрицаѣтъ: они очень хорошо понимаютъ, что лгутъ. Ну, и Господь съ ними! Коли сами себѣ не вѣрать, такъ кто же имъ со стороны поверить?

Нѣть никакого сомнѣнія, что это комедія дрянная, и еслибы только изъ нея состоялъ пушкинскій праздникъ, такъ гр. Л. Н. Толстой быль бы сугубо правъ, отказалвшись принять въ немъ участіе. Но дѣло не такъ было, то есть не совсѣмъ такъ. Кромѣ дрянной, лицемѣрной комедіи, была еще комедія искренняя. И состояла она въ томъ, что, подъ предлогомъ чествованія памяти Пушкина, участвовавшіе въ торжествахъ болѣе или менѣе искали и находили «удобство своего дебоша». Такъ всегда бываетъ на подобныхъ торжествахъ, вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, и это очень натурально; но на пушкинскомъ празднике это, предусмотрѣнное г. Цитовичемъ, явленіе получило необычайные размѣры, на что имѣются однако свои резоны.

Я знаю, что И. С. Тургеневъ съ этимъ никакъ не согласится. Всѣ ораторы пушкинского праздника естественно должны были заявлять, что вотъ, дескать, мы собрались со всѣхъ концовъ Россіи чествовать дорогую намъ память великаго поэта и т. д. Иначе, конечно, и нельзя. Но, сказавъ на эту, какъ бы даже официальную и во всякомъ случаѣ обязательную тему нѣсколько болѣе или менѣе вялыхъ словъ, большинство ораторовъ съѣзжало на «дебошъ». Едва-ли не одинъ г. Тургеневъ странно остановился науваженіи русскаго общества къ великому поэту и даже на этомъ именно явленіи построилъ самую суть

своей рѣчи. Правда, г. Шпилевскій, профессоръ казанского университета, всю свою небольшую рѣчь составилъ изъ указания на вниманіе и уваженіе, которымъ начинаетъ пользоваться Пушкинъ среди инородческой молодежи казанского учебного округа. Но, какъ ни любопытнѣ самъ по себѣ этотъ фактъ, онъ въ настоящемъ случаѣ большого значенія не имѣеть: инородческой молодежи казанского учебного округа не было на праздникѣ, да и притомъ она самая малая вспля въ морѣ. Г. Тургеневъ естественно поставилъ вопросъ гораздо шире. Вотъ наиболѣе характерный въ этомъ смыслѣ отрывокъ изъ его рѣчи:

«Пушкинъ не избѣгъ общей участіи художниковъ-поэтовъ, начинателей. Онъ испыталъ на себѣ охлажденіе современниковъ; послѣдующія поколѣнія еще болѣе удалились отъ него, перестали нуждаться въ немъ, воспитываться на немъ, и только въ недавнее время становится замѣтнымъ возвращеніе къ его поэзіи... Причины того охлажденія... достаточно извѣстны. Намъ приходится только вызвать ихъ въ вашей памяти. Онъ лежали въ самой судьбѣ, въ историческомъ развитіи общества, въ условіяхъ, при которыхъ зарождалась новая жизнь, вступившая изъ литературной эпохи въ политическую. Възникли неожиданные и, при всей неожиданности, законные стремленія, небывалые и неотразимы потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать отвѣта... Не до поэзіи, не до художества стало тогда. Однаково восхищаться «Мертвыми душами» и «Мѣднымъ всадникомъ», или «Египетскими ночами» могли только записные словесники, мимо которыхъ побѣжали сильныя, хотя и мутныя волны той новой жизни. Міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ, его горячее сочувствіе нашей, иногда официальной, славѣ—устарѣлымъ, его классическое чувство мѣры и гармоніи—холоднымъ анахронизмомъ. Изъ бѣломраморнаго храма, гдѣ поэтъ явился жрецомъ, гдѣ, правда, горѣлъ огонь... но на алтарѣ—и сожигалъ... одинъ єюміамъ, люди пошли на шумныхъ торжища, гдѣ именно нужна метла... и метла нашлась. Поэты-эхо, по выражению Пушкина, поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный, какъ жизнь на покой — смѣнился поэтомъ-глашатаемъ, центробѣжнымъ, тяготѣющимъ къ другимъ, отрицательнымъ, какъ жизнь въ движеніи. Самъ главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Бѣлинскій, смѣнился другими судьями, мало прѣнившими поэзію. Всльдѣ за скоро прерваннымъ голосомъ Лермонтова, когда Гоголь сталъ уже властителемъ людскихъ думъ, зазвучалъ голосъ поэта «мести и печали», а за нимъ пошли другие—и повели за собою наростища поколѣнія. Искусство, завоевавшее твореніями Пушкина право гражданства, несомнѣнность своего существованія, языкъ имъ созданный—стало служить другимъ началамъ, столь же необходимымъ въ общественномъ устроеніи. Многие видѣли и видятъ до сихъ поръ въ этомъ измѣненіи простой упадокъ; но мы позволимъ себѣ замѣтить, что падаетъ, рушится только мертвое, неорганическое. Жи-

вое измѣняется органически—ростомъ. А Россія ростеть, не падаетъ. Что подобное развитіе—какъ всякий ростъ—неизбѣжно сопряжено съ болѣзнями, мучительными кризисами, съ самыми злыми, на первый взглядъ безвыходными противорѣчіями—доказывать кажется нечего; нась этому учить нетолько всеобщая исторія, но даже исторія каждой отдельной личности. Сама наука намъ говорить о необходимыхъ болѣзняхъ. Но смущаться этимъ, оплакивать прежнее, все-таки относительное спокойствіе, стараться возвратиться къ нему—и возвращать въ нему другихъ, хотя бы насилино—могутъ только отжившіе или близорукіе люди. Въ эпохи народной жизни, носящія название переходныхъ—дѣло мыслящаго человѣка, истиннаго гражданина своей родины—идти впередъ, несмотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на мигъ изъ виду тѣхъ основныхъ идеаловъ, на которыхъ построенъ весь быть общества, котораго онъ состоить живымъ членомъ. И десять, и пятнадцать лѣтъ тому назадъ—празднество, которое привлекло нась всѣхъ сюда, было бы привѣтствовано, какъ актъ справедливости, какъ дань общественной благодарности; но быть можетъ не было бы того чувства единодушія, которое проникаетъ теперь нась всѣхъ, безъ различія званія, занятій и лѣтъ. Мы уже указали на тотъ радостный фактъ, что молодежь возвращается къ чтенію, къ изученію Пушкина; но мы не должны забывать, что нѣсколько поколѣній подрядъ прошли передъ нашими глазами, поколѣній, для которыхъ самое имя Пушкина было не что иное, какъ только имя, въ числѣ другихъ обреченныхъ забвенію именъ. Не станемъ, однако, слишкомъ винить эти поколѣнія: мы старались вкратцѣ изобразить, почему это забвеніе было неизбѣжно. Но мы не можемъ также не радоваться этому возврату къ поэзіи.»

Во всей коллекціи рѣчей пушкинского праздника не найдется ни одной, въ которой отношение русскаго общества къ поэту было бы подвергнуто столь тщательному анализу, какъ въ приведенномъ отрывкѣ изъ рѣчи г. Тургенева. Резюмировать этотъ отрывокъ можно такъ: общество охладѣло къ Пушкину по такимъ-то и такимъ-то причинамъ, а нынѣ опять къ нему возвращается. Сказанная на пушкинскомъ торжествѣ рѣчь эта рѣшительно свидѣтельствуетъ о полной непосредственности торжества: собрались, дескать, люди помянуть человѣка, къ которому были несправедливы, но котораго теперь опять оцѣнили и полюбили; собрались не по какимъ-нибудь стороннимъ побужденіямъ, а единственному, потому, что Пушкинъ имъ дорогъ.

Я думаю, однако, что это совсѣмъ не вѣрно, и что подвергнуть сомнѣнію выводъ, естественно вытекающій изъ рѣчи г. Тургенева, не трудно, нетолько на основаніи общаго колорита праздника, но и на основаніи рѣчи самого г. Тургенева. Да, эта рѣчь свидѣтельствуетъ, мнѣ кажется, съ полной ясностью, что даже самъ г. Тургеневъ участвовалъ въ торжествѣ не столько Пушкина ради, сколько «для удобства своего дебоша»...

Мнѣ надоѣла, однако, эта грубая и безграмотная фраза. На дѣлѣ чѣмъ-нибудь замѣнить...

Въ повѣсти Г. И. Успенскаго «Раззореніе», какія-то таинственныя личности научаются героя «производить по своему дѣлу шумъ». И герой очень радъ этой, предлагаемой ему, роли. Да какъ же и не радоваться-то? «Производить по своему дѣлу шумъ» значить жить во всѣ, отводить наболѣвшую душу, всенародно молиться своему Богу, звать другихъ къ дверямъ его храма, рубить и жечь идоловъ чужихъ, ложныхъ боговъ. Кто же отъ этого откажется, если только у него дѣйствительно есть «свое дѣло», стоящее шума, свой Богъ? А какъ же такому дѣлу не быть у нашего брата, литератора! Я вовсе не хочу говорить комплиментовъ литературному сословію, но вѣдь это такъ натурально: люди, постоянно вращающіеся въ сферѣ мысли и общественныхъ дѣлъ, естественно должны либо сами выработать себѣ стоящее шума дѣло, либо пристроиться къ какому-нибудь готовому. Тутъ ни хвали не можетъ быть, ни порицанія—иначе нельзя, почти физически нельзя. Другое дѣло формы, принимаемыя «своимъ дѣломъ» и служенiemъ ему. Тутъ найдется мѣсто и хвалѣ, и порицанію, ибо «свое дѣло» можетъ, напримѣръ, вертѣться, какъ флюгеръ, указывающій направлѣніе вѣтровъ; можетъ оно, кроме того, быть и широкимъ, и узкимъ, даже чисто личнымъ. Вотъ это-то и надо бы было разобрать прежде, чѣмъ придавать ругательный тонъ «дебоша» законному стремленію литераторовъ и ученыхъ «производить по своему дѣлу шумъ».

Напомню отрывокъ изъ рѣчи профессора — академика Сухомлинова, вызвавшій громъ рукоплесканій:

«Пушкину суждено было пережить тяжелую пору для нашей научной и литературной дѣятельности. Какой-то злобный демонъ, духъ разрушенія и гибели, парилъ надъ русскими университетами, изгоняя изъ нихъ служителей истиннаго бога — бога свѣта и знанія. (*Рукоплесканія*). Тотъ же духъ недовѣрія и пресмѣданія тяготѣлъ и надъ литературой. Писатели должны были умолкать на полусловѣ и вслѣдствіе этого происходило то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: недосказанная правда казалась ложью и недосказанная ложь — правдою. (*Взглядъ рукоплесканій*).»

«Совершенную противоположность представляетъ эпоха предшествовавшая—начало девятнадцатаго столѣтія, бывшее выѣсть съ тѣмъ и началомъ царствованія императора Александра I. Тогда люди государственные, участвовавшіе въ составленіи университетскаго устава, доказывали необходимость свободы изслѣдованія и преподаванія. Тогда составители цензурного устава открыто и прямо говорили противъ всякихъ стѣсненій печатному слову и добивались для него возможно-большей свободы.

«На чью же сторону склонился Пушкинъ? Что говорили ему его свѣтлый умъ, его чистая совѣсть?—Пушкинъ выразилъ свой взглядъ самымъ опредѣленнымъ образомъ, и слова его должны

сдѣлаться достояніемъ исторіи и девизомъ всѣхъ русскихъ университетовъ, всѣхъ истинныхъ друзей науки, литературы и пропаганды:

Дней Александровыхъ прекрасное начало:  
Пройдай, что въ тѣ дни произвела печать!  
*На поприще ума налья отступать.*

Не берусь судить обѣ томъ, что думалъ самъ г. Сухомлиновъ, произнося эти прекрасныя и горячая слова. Но публика, руководяща имъ, несомнѣнно не о Пушкинѣ думала, а о злобѣ дня, «производила по своему дѣлу шумъ», клала свитокъ своихъ собственныхъ скорбей къ подножью монумента поэта. У кого же поднимется рука бросить въ нее за это камень, у кого повернется языкъ на порицаніе? Униженія отъ этого Пушкину и его памяти, разумѣется, нѣтъ никакого. Напротивъ. Спросите у люб资料 изъ живыхъ современниковъ, имѣющихъ право ждать памятниковъ и публичного поминовенія, и онъ, конечно, скажетъ: если, по обстоятельствамъ времени и мѣста, мой монументъ представить «удобство для дебоша», если къ нему будутъ стекаться потомки для изліянія своихъ скорбей и радостей, то — пусть... И еще бы не пусть! Какого еще, съ позволенія сказать, рожна великому человѣку нужно? Вотъ, если потомки понесутъ къ подножью монумента чисто личное дѣло и личное самолюбіе, тогда другая музыка выйдетъ, музыка, въ самомъ дѣлѣ, освобительная для памяти великаго человѣка...

Все это такъ, скажеть, можетъ быть, г. Тургеневъ, но разѣ вы не видите, что, независимо отъ «удобства своего дебоша», общество цѣнить на пушкинскомъ торжествѣ самого Пушкина, непосредственно, безъ отношенія къ какимъ бы то ни было злобамъ дня? разѣ вы не видите, что его опять начинаютъ читать, какъ великаго поэта, и возвращаются къ нему, послѣ временнаго охлажденія?

Съ позволенія г. Тургенева, я этого не вижу. Не вижу въ обществѣ, не вижу и изъ рѣчи г. Тургенева. Приведенный отрывокъ изъ рѣчи г. Тургенева самъ собою распадается на двѣ части. Въ одной части, въ той, которая относится къ нашему недавнему прошлому, все ясно и правдиво; въ другой, трактующей о настоящемъ времени, все неясно и произвольно. Когда г. Тургеневъ говорить обѣ охлажденій къ Пушкину, онъ указываетъ, во-первыхъ, на несомнѣнныи фактъ, наиболѣе яркое выраженіе котораго — статьи Писарева — еще у всѣхъ въ памяти; онъ далѣе изслѣдуетъ причины этого охлажденія, приводить ему объясненіе, не совсѣмъ, правда, полное, но тщательное, добросовѣстное и вѣроподобное. Не то въ другой части. Тутъ самый фактъ ставится, если можно такъ выразиться, коломъ. Нѣтъ ни доказательствъ его наличности, ни какаго бы то ни было намека на его причины, а есть одно только недоразумѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ симптомы «возвращенія» русского общества къ Пушкину? Я ихъ не знаю. Правда, обѣ этомъ свидѣтельствуетъ

г. Тургеневъ, а свидѣтельство такого человѣка весьма важно, но все-таки его показаніе чисто голословно. Не видать новыхъ выдающихся изслѣдований или критическихъ статей о Пушкинѣ, не слыхать, чтобы сочиненія его очень пристально читались, и вообще ничего такого нѣтъ, на чмъ можно бы было правомѣрно построить «возвращеніе» къ Пушкину. Правда, нѣтъ и статей въ родѣ писаревскихъ, но это означаетъ можетъ быть только то, что мы маленько постарше стали. Надо при этомъ замѣтить, что Писаревъ считалъ нужнымъ бороться съ Пушкинымъ, валить его съ пьедестала, значить, признавать за нимъ силу, а теперь наступила, кажется, пора полного равнодушія. Такъ было по крайней мѣрѣ до пушкинского праздника. Не знаю, какъ будетъ дальше. Много ишибко жило за послѣднее время наше отечество, но ни герцеговинское возстаніе, ни турецкая война, ни политические процессы, ни процессы разныхъ червонныхъ и другихъ мастей валетовъ, словомъ ни одно изъ событій, велновавшихъ за послѣдніе годы русское общество, не напоминало и не могло напоминать Пушкина. Мало того. Можно, нисколько не оскорбляя памяти поэта, смѣю сказать, что намъ было не до него. И это косвеннымъ образомъ можно вывести даже изъ собственной аргументаціи г. Тургенева. Почтенный романистъ объясняетъ, что въ пятидесятыхъ—шестидесятыхъ годахъ появился «небывалыи и неотразимыи потребности», «жизнь выступила изъ литературной эпохи въ политическую», а потому «поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный, какъ жизнь на покой», то есть Пушкинъ, отступилъ на второй планъ; его мѣсто занялъ «поэтъ центробѣжный, тяготѣющій къ другимъ, отрицательный, какъ жизнь въ движениі», то есть Некрасовъ. Все это, по мнѣнію г. Тургенева, естественно и неизбѣжно вытекало изъ самого положенія вещей и вполнѣ этимъ положеніемъ объясняется. Ну, а что же теперь? удовлетворены что-ли «небывалыи и неотразимыи потребности»? жизни изъ политической эпохи перешла опять въ литературную или обѣ эти сферы какъ-нибудь сосягались въ высшемъ единстве всесторонней, гармонической полноты? Должно быть нѣчто подобное случилось, если въ самомъ дѣлѣ опять объявился, по словамъ г. Тургенева, запросъ на «поэта центрального, положительного, какъ жизнь на новой». Но г. Тургеневъ не хуже меня, не хуже каждого имѣющаго очи видѣти и уши слышати, знаетъ, что наша эпоха политическая по преимуществу, даже слишкомъ односторонне-политическая, что жизнь наша течетъ тревожнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Откуда же, изъ какой почвы можетъ тутъ вырасти усиленный запросъ на поэта, «положительного, какъ жизнь на покой»? Поживемъ — увидимъ, а пока немножко рано началь хоронить г. Тургеневъ «музъ мести и печали». Тутъ дѣло, конечно, совсѣмъ не въ личномъ отношеніи г. Тургенева къ этой музѣ. Правда, знаменитый романистъ идетъ въ этомъ смыслѣ очень далеко, такъ далеко, что даже удивительно. Пояснить сначала,

что «пoэзия Пушкина» уступила, по обстоятельствамъ, первое мѣсто поэзіи Некрасова, г. Тургеневъ въ концѣ рѣчи, не оби-  
нуясь, радуется, что русское общество опять возвращается къ  
«поэзии», просто къ поэзіи, къ поэзіи вообще. Значить, поэзія  
Пушкина есть поэзія, а поэзія Некрасова даже не поэзія, а такъ  
себѣ, въ родѣ капусты, огородный овощъ... Это по истинѣ очень  
далеко, да и отъ истины не близко. Но все-таки это чисто лич-  
ное мнѣніе г. Тургенева, за которое никто, кроме него, не отвѣт-  
ственъ. Но онъ подсовываетъ русскому обществу забвеніе поэта  
«жизни въ движеніи», за что Богъ истины и справедливости ка-  
раетъ его по заслугамъ: заставляетъ впадать въ противорѣчія...

Въ концѣ-концовъ, если я какія-нибудь частности невѣрно  
понялъ или неправильно истолковалъ, остается все-таки несомнѣн-  
нымъ, что г. Тургеневъ нетолько память Пушкина чествовалъ,  
а и производилъ по своему поэтическому дѣлу шумъ. И онъ со-  
вершенно въ своемъ правѣ. Конечно, можно бы было пожелать,  
чтобы знаменитый романистъ, пользуясь «удобствомъ своего де-  
боя», употреблялъ только достойные его славы приемы, но что  
касается собственно дебоя, то, повторю, онъ совершенно въ  
своемъ правѣ. Положимъ, что все это комедія, положимъ, что  
Пушкинъ тутъ только предлогъ и «удобство», но если г. Турге-  
невъ искренно вѣрить въ обновляющую силу и въ свое времен-  
ность поэзіи, «положительной, какъ жизнь на покой», то пусть  
пользуется «удобствомъ». Тутъ все дѣло въ искренности...

Любопытно было бы однако знать, что именно ввелъ г. Тур-  
генева въ заблужденіе насчетъ возвращенія русского общества  
непосредственно къ Пушкину или къ представляемой этимъ  
великаномъ поэзіи, «положительной, какъ жизнь на покой». По-  
видимому, нѣть ни одного сколько-нибудь крупнаго факта въ  
русской общественной жизни, который можно бы было привести  
въ подтвержденіе этой мысли, и есть напротивъ очень много  
фактовъ, прямо или косвенно ее опровергающихъ. Конечно, г.  
Тургеневъ могъ встрѣтить людей, нетолько благоговѣющіхъ  
передъ памятью Пушкина, но и видящихъ въ немъ, какъ бы  
знамя минуты. Но не такъ же онъ легкомыслѣнъ, чтобы обоб-  
щить эти случайныя встрѣчи. Перебирая въ своей памяти пере-  
житыя нами за послѣднее время разныя разности, я могъ оста-  
новиться только на одной группѣ фактовъ, на первый взглядъ  
способной привести къ тѣмъ ошибочнымъ наблюденіямъ и вы-  
водамъ, къ которымъ пришелъ г. Тургеневъ. Это именно тѣ  
ovationи, предметомъ которыхъ были прошлою зимою гг. Тургеневъ  
и Достоевскій. Пушкинъ тутъ не при чемъ, конечно, но могло  
казаться, что «пoэзия» играетъ тутъ весьма существенную роль,  
что гг. Тургеневъ и Достоевскій чествуются въ качествѣ поэтовъ.  
Сколько помнится, однако, самъ г. Тургеневъ этому не вѣрилъ.  
Не помню въ точности словъ, которыхъ ему тогда приписывались,  
но смыслъ ихъ былъ именно тотъ, что вотъ, дескать, я изобра-  
жаю изъ себя «удобство дебоя». Эта трезвость и критический

такъ дѣлаютъ величайшую честь г. Тургеневу. Онъ, равно какъ и г. Достоевскій, былъ дѣйствительно въ ту минуту «удобствомъ». Если вы, читатели и читательницы, помните, какъ вы тогда «въ воздухъ чепчики бросали» и производили другія подобныя операции (легко можетъ быть, что и забыли), то помните также, что гг. Тургеневу и Достоевскому были тогда усвоены двѣ довольно, впрочемъ, туманные политическіе программы, чѣмъ, мимоходомъ сказать, оба эти писателя были поставлены въ немалое затрудненіе. Корень былъ въ этихъ программахъ, да еще въ томъ, что русское общество чувствовало острую потребность заявить о своемъ существованіи. А затѣмъ толпа, въ которой возбужденіе передается отъ одной головы къ другой такъ же стихійно, какъ электрическая искра, всегда готова поднять на щить и носителя программы, и сапоги его, и вола его, и раба его, и осла его. Это въ особенности относится къ нашей, русской толпѣ, имѣющей слишкомъ малую практику въ дѣлѣ выраженія своихъ чувствъ. Было бы поэтому очень нерезонно объяснять тогданий оваций тѣмъ, что вотъ, дескать, русское общество отложило въ сторону всѣ свои остальные думы, забыло всѣ свои скорби и раны и только обѣ одномъ и думаетъ, какъ быувѣнчать лаврами и розами своихъ поэтовъ. Какъ уже сказано, г. Тургеневъ не впалъ въ это заблужденіе. Но все таки...

Мнѣ не хотѣлось бы трогать несомнѣнно болѣное мѣсто души г. Тургенева, но дѣло это прошлое и, кажется, въ этомъ случаѣ вполнѣ примѣнна русская пословица: быть молоду не укорь. На одномъ изъ московскихъ бѣдовъ, какое-то духовное лицо имѣло безтактность провозгласить тостъ въ честь г. Тургенева, какъ автора клички «нигилистъ». Г. Тургеневу было навѣрное очень больно въ эту минуту. Онъ долженъ былъ вспомнить тѣ времена, когда отъ него, по его собственному позднѣйшему признанію, отвернулась лучшая часть русского общества. Но годы шли за годами, люди пробовали жить и умирали, новые и новые слои отложились на русской жизни, прошлое мало-по-малу стерлось, и г. Тургеневъ сталъ просто одною изъ гордостей русского искусства, а въ глазахъ нѣкоторыхъ еще и носителемъ извѣстной политической программы. А тамъ обычная механика возбужденія толпы, не имѣющей практики въ дѣлѣ выраженія своихъ чувствъ, и г. Тургеневъ на шедестагъ...

Я боюсь, что эту свою личную, очень въ сущности простую и вполнѣ специальную, но для него самого преувеличенно важную исторію г. Тургеневъ имѣть неосторожность обобщить до предѣловъ возвращенія русского общества къ поэзіи жизни на покой и къ Пушкину...

Нѣть, къ сожалѣнію, о Пушкинѣ мало кто у насъ думаетъ, что, впрочемъ, вполнѣ понятно и вполнѣ объясняется тѣми самыми мотивами, которыми г. Тургеневъ обставилъ окладеніе къ Пушкину лѣтъ двадцать тому назадъ. Мало кто думалъ о Пушкинѣ и на пушкинскомъ праздніѣ. Что у кого болить,

тотъ о томъ и говоритьъ, а специально Пушкинныи у насть, кромъ развѣ гг. Анненкова и Грота, никто не болѣнъ. Г. Достоевскій, напримѣръ, по этой части вполнѣ здоровъ, онъ совсѣмъ другимъ страдаетъ, онъ... самимъ собой болѣнъ...

Я не намѣренъ распространяться о рѣчи г. Достоевскаго, такъ какъ ея виляніе и противорѣчивость достаточно характеризованы въ письмѣ г. Г. У., напечатанномъ въ прошломъ номерѣ «Отечественныхъ Записокъ». Характеристика вышла замѣчательно удачная, даже помимо воли автора. Въ самомъ дѣлѣ письмо г. Г. У. характеризуетъ не только рѣчь г. Достоевскаго, а и настроеніе публики, и при томъ характеризуетъ не словами лишь, а и, такъ сказать, самолично. Увлеченный общимъ настроениемъ минуты, г. Г. У. подслушалъ въ рѣчи г. Достоевскаго то самое, что ему подсказали его собственное сердце, и только затѣмъ, посмотрѣвъ на дѣло «съ холоднымъ вниманіемъ разсудка», разобралъ, что рѣчь эта есть пустая и не совсѣмъ умная шутка. Да, пустая, потому что человѣкъ не даль ни одного твердаго вывода, ни одной не колеблющейся мысли, и не совсѣмъ умная, потому что «не можно вѣкъ носить личину». Для не присутствовавшихъ на праздникѣ первое впечатлѣніе не существуетъ, а у присутствовавшихъ оно пройдетъ, какъ прошло у г. Г. У. И тогда... Боже! чѣмъ долженъ тогда подумать о г. Достоевскомъ тогъ, напримѣръ, молодой человѣкъ, который послѣ его рѣчи упалъ въ обморокъ...

Что же касается первого впечатлѣнія, то это такъ понятно. Впервыхъ, г. Достоевскій мастерски, истинно художественно читаетъ (а видѣ у насть ораторы не говорять, а читаются); во-вторыхъ, рѣчь его была оригинально задумана, вѣрнѣе сказать, оригинально, не по шаблону построена; втретыхъ, наконецъ, публика была такъ жадна, что готова была проглотить всякий камень, обтесанный и покрашенный на манеръ хлѣба. Люди собирались производить по своему дѣлу шумъ, люди, надо помнить, непривычные, которые годами и годами ждутъ слушая публично, шумно и свободно заявить о своемъ существованіи. Даже у гораздо болѣе взрослыхъ, чѣмъ мы, народовъ это публичное, свободное и шумное выраженіе чувствъ, будучи отчасти средствомъ для достиженія тѣхъ или другихъ практическихъ цѣлей, вмѣстѣ съ тѣмъ само по себѣ составляетъ цѣль. Какой нибудь, положимъ, англичанинъ шумитъ на митингѣ въ разсчетѣ, что этотъ шумъ произведетъ такой-то результатъ, но, помимо этого, самъ этотъ шумъ есть одна изъ формъ жизни и, въ качествѣ таковой, имѣть совершенно самостоятельную привлекательность: человѣкъ живетъ, чувствуетъ себя единицей, а не безгласнымъ и безправнымъ нулемъ, онъ самъ выбралъ себѣ предметъуваженія, любви или ненависти, вражды, презрѣнія и естественно дорожить этой самостью. Такъ мать дорожитъ своимъ ребенкомъ: она «скрежетомъ сына носила и со стономъ его родила». Но, какъ ни дорога для англичанина или другого европейца эта свобода вы-

бора и свобода выражения, онъ все-таки, вообще говоря, не воспользуется ею, какъ капризная, первая барыня, то есть безъ вниманія къ своимъ интересамъ, какъ онъ ихъ понимаетъ, и къ ближайшимъ практическимъ результатамъ. Можетъ, разумѣется, и съ нимъ случиться грѣхъ первого впечатлѣнія, наталкивающаго на слова и поступки, противорѣчащіе всему его прошлому, но это будетъ исключение, а не общее правило; онъ съ молокомъ матери всосалъ привычку къ самости. У насъ этого нѣтъ, конечно, и потому нечего удивляться, если свободный, публичный шумъ имѣть для насъ преувеличенную прелестъ, если ему предаются, такъ сказать, зря, преимущественно ради него самого и въ случаяхъ, не совсѣмъ подходящихъ.

На пушкинскомъ праздникѣ публика, естественно, ожидала услышать нѣчто такое, чего она не можетъ услышать въ другихъ мѣстахъ, то есть въ печати (больше-то у насъ и мѣсть никакихъ нѣтъ; есть, правда, еще мѣста, да тѣ ужъ очень отдаленные). А чего именно нельзѧ услышать въ печати, обѣ чѣмъ именно «даже въ полголоса мы не пѣвали» — это всѣмъ очень хорошо известно. Вотъ этого-то, всѣмъ известного, но постоянно умалчиваемаго, и ждала публика, тревожно ловя настороженнымъ ухомъ каждое подходящее слово, пропуская мимо ушей оставленное и жадно глотая и хлѣбъ, и камень, обтесанный и покрашенный на манеръ хлѣба. Гдѣ же ужъ тутъ было разобраться въ виланіи и двусмыслиностяхъ рѣчи г. Достоевскаго. Онъ вѣдь на то и билъ, чтобы раздать всѣмъ сестрамъ по серыgamъ съ фальшивыми камнями, да потомъ всѣ серьги опять обобрать и къ себѣ въ карманъ положить, подмѣнивъ крашенныя стеклышки своихъ сережекъ чистыми алмазами и жемчугами искренняго увлеченія толпы. Я съ большими нетерпѣніемъ жду слѣдующаго произведения г. Достоевскаго. Очень и очень любопытно будетъ узнать, какъ отразилось на немъ московское торжество. Не слѣпъ же онъ, не можетъ же онъ не понимать что въ его рѣчи вызвало эту сладкую бурю чувствъ; не можетъ же онъ думать, что соблазнилъ кого нибудь, напримѣръ, знаменитой деревянной, стоеросовой фразой Татьяны или змѣиной на смѣшной надѣ русскимъ скитальцемъ. Быть можетъ, онъ пойметъ, наконецъ, что тамъ, гдѣ есть столько энтузіазма и горячаго увлеченія, тамъ есть по всей вѣроятности и боль, и правда, правда и боль высокая, великая, достойная прямого и честнаго къ ней отношенія...

Мнѣ обидно за г. Достоевскаго, воспользовавшагося удобствомъ, чтобы вымѣнять свои фальшивые камешки на настоящія драгоценности; обидно за публику, съ разу не замѣтившую на чьей сторонѣ выгода въ этомъ обмѣнѣ; всего обиднѣе за жизненные явленія, послужившія какъ бы подкладкой недоразумѣнія. Но все-таки я чувствую нѣкоторое удовлетвореніе. Были же какие нибудь резоны у г. Достоевскаго для раздачи всѣмъ сестрамъ по

серыгамъ, хотя бы и съ фальшивыми камнями. Были резоны и у г. Каткова для примирительной рѣчи.

«Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!»

закончилъ г. Катковъ свою рѣчу стихомъ Пушкина. О, да! да здравствуетъ солнце, да скроется тьма! Я боюсь только, что при этомъ придется скрыться и г. Каткову. Мне кажется даже, что онъ и самъ этого боится, а потому и сказалъ примирительную рѣчу. Мне кажется, онъ и г. Достоевскій думаютъ, что не сегодня-завтра опять и опять повторится нѣчто подобное пушкинскому празднику, что наступить, пожалуй, сплошной перманентный пушкинскій праздникъ, а потому надлежитъ забѣжать передъ событиями и заранѣе раздать всѣмъ сестрамъ по серыгамъ. И мне кажется, что они правы, если не въ расчетахъ своихъ (этому бы я не порадовался), то въ ожиданіяхъ. Не подумайте, чтобы я вернулся изъ прекрасной, ободряющей глупи нагруженный излишнимъ оптимизмомъ. Нѣть, я знаю, что завтра же погода можетъ перемѣниться, но при данныхъ, нынѣшихъ обстоятельствахъ гг. Катковъ и Достоевскій, можетъ быть, и не заблуждаются. Тѣмъ временемъ мы помаленьку привыкнемъ выражать свои чувства, выбирать предметы чествованія и вражды, научимся различать фальшивыя и настоящія драгоцѣнности, а потомъ—*vogue la galere!*

Н. М.